

ДЕТЕКТИВНОЕ РЕТРО

АВАЛОН



АЛЕКСАНДР РУЖ

Детективное ретро

Александр Руж

Авалон

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Руж А.

Авалон / А. Руж — «Эксмо», 2022 — (Детективное ретро)

ISBN 978-5-04-165360-6

Писатель и сценарист Александр Руж представляет новый авторский цикл «Детективное ретро». Действие его исторических остросюжетных романов происходит в 20-е годы в России. Автор приоткрывает завесу над тайнами и загадками молодого советского государства, блестяще передавая колорит эпохи и реалии жизни этого непростого времени в истории нашей страны. Москва, декабрь 1925 года. Сотрудник ОГПУ Вадим Арсеньев, находящийся в психиатрической больнице, встречается там с Сергеем Есениным. Знаменитый поэт очень взвинчен, его посещают видения, за окном ему чудится черный человек — это происходит после того, как Есенин открывает серебряный портсигар и звучит навязчивая мелодия. Он предчувствует, что скоро с ним случится беда, и просит Вадима о помощи... Вскоре Арсеньева забирают из больницы и привозят на Лубянку, к заместителю председателя ОГПУ Менжинскому. Тот рассказывает, что за последнее время произошло несколько странных преступлений: при разных обстоятельствах погибли видные советские деятели — Котовский, Фрунзе и наконец Сергей Есенин, покончивший с собой в ленинградской гостинице «Англетер». Вадиму дано задание расследовать обстоятельства смерти Есенина, ведь поэт зашифровал его имя в своем последнем стихотворении... Александр Руж — лауреат второго сезона премии «Русский детектив» в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино в номинации «Открытие года».

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-165360-6

© Руж А., 2022

© Эксмо, 2022

Содержание

Вступление	7
Глава I,	11
Глава II,	22
Глава III,	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Александр Руж
Авалон
Роман

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Руж А., 2022

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2022

Вступление

Эту историю следовало бы начать с пасмурного осеннего дня 1925 года, когда в Москве попал на операционный стол выдающийся государственный деятель. У него обнаружили язву двенадцатиперстной кишки, консилиум, проведенный лучшими врачами республики, рекомендовал операцию, с чем пациент согласился безоговорочно. Его определили в Солдатенковскую больницу, считавшуюся лучшей в столице. Здесь лечили вождей, поэтому под сводами корпусов, расположенных к северу от центра города, в районе Октябрьского Поля, были собраны виднейшие медицинские кадры.

Ответственным за проведение операции назначили хирурга Розанова. Его кандидатура ни у кого не вызвала сомнений. В прежние годы он успешно удалил аппендицит Сталину и извлек пулю из руки Ленина. Его нынешний пациент чувствовал себя совершенно спокойно и заявлял, что решением консилиума полностью удовлетворен. «Вы уж, доктор, покопайтесь во мне, – говорил он Розанову. – Эта проклятая болячка уже много раз давала о себе знать. Сделайте так, чтобы я о ней забыл навсегда».

В один из последних дней октября медицинская бригада в белых халатах обступила лежащего на столе голого человека, чье мужественное лицо с высоким лбом и пышными усами было хорошо знакомо по фотографиям в передовице «Правды» и агитплакатам времен Гражданской войны. Больной ободряюще улыбнулся и сказал, что готов. На его нос и рот накинули сложенную в несколько слоев марлю, на которую анестезиолог начал капать из склянки эфир.

С Розановым в этот момент происходило что-то не совсем объяснимое. Всегда уравновешенный и уверенный в себе, он переминался с ноги на ногу и нервно стискивал в руке скальпель. Лысая макушка, обрамленная валиком редких волос, покрылась испариной. Матерчатая маска скрывала щеки, и никто не видел, как по ним пробегал тик. Однако пожилой анестезиолог, знавший Розанова двадцать лет, заметил неладное и шепотом спросил:

– Владимир Николаевич, порядок?

Его работа требовала оперативности и четкости, поэтому он и речь свою выстраивал предельно скупой, научившись обходиться совсем без глаголов.

– Да! – ответил хирург чересчур резко и взгляделся в осовелые, но по-прежнему открытые глаза пациента. – Почему он не спит? Сколько влили эфира?

Потомственный дворянин, привыкший с детства говорить по-французски, он заметно грассировал.

– Шестьдесят граммов. В три раза больше нормы...

– Лейте еще. Или вот что... Добавьте хлороформу.

– Сочетание с эфиром – опасность, – заикнулся анестезиолог. – Остановка сердца...

– Делайте, как я сказал! Сегдце у него отменное, дай, ог каждому.

После ударной порции наркоза больной наконец заснул. Розанов слегка подрагивавшими руками вскрыл брюшную полость.

– А язва-то зарубцевалась! – воскликнула молодая медсестричка, заглянув в кровавую дыру – Зря только резали. Будем зашивать?

– Ни в коем случае. – Розанов хищно вонзил скальпель в сочащуюся плоть. – Пговегим заодно желудок, печень, слепую кишку...

– Сердечная деятельность слабеет! – с тревогой заметила медсестра, державшая на груди пациента щупальце стетоскопа.

– Выдегжит... Опегигуем дальше!

Ассистенты переглянулись. Испарина на лысине научного светила превратилась в крупные капли пота, они стекали на брови, заливали глаза. Стекла очков покрылись туманной пово-

локой. Склонившийся над неподвижным телом хирург походил на одержимого, который механически выполняет действия, не очень-то осознавая, что именно он творит.

Через час с небольшим пациента с изрезанными внутренними органами заштопали, а сутки спустя он скончался от сердечного паралича.

Впрочем, брать это событие за точку отсчета будет с нашей стороны некорректно, ибо тремя месяцами ранее свершилась еще одна трагедия, так же мало поддающаяся логическому обоснованию, как и случай в Солдатенковской больнице.

Легендарный военачальник, кавалерист-рубака, отдыхал от ратных дел на берегу Черного моря, в небольшом поселке Чабанка, в тридцати километрах от Одессы. Утомленный шумихой вокруг своей персоны, он мечтал пожить на юге тайно, но о его приезде мигом узнали местные, и с тех пор отбоя не было от посетителей, желавших лично засвидетельствовать почтение герою. Так пролетел отпуск, настала пора возвращаться в Москву. В последний вечер его пригласили выступить в пионерском лагере, где он в сотый, если не в тысячный раз рассказывал, как крошил в капусту банду атамана Антонова. А после, уже почти ночью, красные командиры, квартировавшие неподалеку, решили устроить торжественные проводы. Он пошел с неохотой: ему надоели бесконечные чествования, льстивые речи и однообразные тосты. Жена уже собрала чемоданы, подготовившись к утреннему отъезду.

Проводы не задались. Звенели стаканы, звучали здравицы, а виновник торжества сидел, свесив большую, тщательно обриту и блестящую, как бильярдный шар, голову, ко всему безучастный и молчаливый. Так прошло три часа. Он поднялся, скупко поблагодарил за ужин, попросил жену уложить маленького сына, а сам задержался еще на несколько минут, чтобы переговорить с кем-то из нужных людей. Окончив разговор, он направился к дому, в котором остановился с семьей на время отпуска. Из-за темноты, смолистой и почти непроглядной, как всегда бывает летними южными ночами, он не видел, что за ним крадется человек с «наганом». На небосклоне мерцали только крошечные звезды – отблески далеких, никому не ведомых миров.

На углу главного корпуса, в котором размещалось большинство отдыхающих, прославленный полководец замедлил шаг – ему захотелось подышать ночной прохладой. Чтобы не сбиться с дороги и не натолкнуться на препятствие, он зажег спичку и осветил ею пространство подле себя.

Тут его и настиг убийца. Первая же пуля разорвала аорту, и герой погиб на месте. На выстрелы прибежали курортники, примчалась расхристанная жена. Она схватила запястье мужа – пульс не бился.

Окровавленный труп перенесли на веранду, уложили на дощатый настил. Зажгли все светильники, какие попались под руку, кто-то протелефонировал в одесскую милицию. Пока жена рыдала над убитым, все гадали, кто мог совершить это святотатство, покуситься на всенародного любимца, которому толпа иступленно аплодировала, куда бы он ни приезжал.

Терзаться догадками пришлось недолго. На веранду вбежал мужчина в полувоенной форме со щетинистым лицом, похожим на обезьянью морду. Это был начальник охраны сахарного завода, в округе его хорошо знали. Он упал на колени и истерично взвыл:

– Это я убил командира!

Новоиспеченная вдова, пребывавшая в состоянии шока, назвала его мерзавцем и прогнала вон. На рассвете он явился вторично и без сопротивления сдался прибывшим из Одессы милиционерам.

Несмотря на то что подозреваемый сразу признал вину, разбирательство забуксовало. Следователей интересовала причина, по которой щетинистый охранник расстрелял краскома, с которым дружил более шести лет. В войну он прятал командира от беляков у себя на чердаке, а тот в знак благодарности помог ему получить нынешнюю должность. Между ними не существовало и не могло быть никаких распрей.

Убийца и сам недоумевал по поводу содеянного. В ходе следствия он трижды менял показания: сначала утверждал, что взялся за револьвер из ревности, потом рассказывал, что мотивом стало недовольство низким служебным положением, которое влиятельный друг отказался улучшить. В конце концов обвиняемый развел руками и сознался, что действовал в силу некоего умопомешательства, не отдавая себе отчета.

Но стоп! На самом деле наша история началась гораздо раньше и дальше от обжитых районов страны. В марте 1917 года на Северном Урале, неподалеку от истока Печоры, из бревенчатой избушки, затерянной в бескрайней тайге, вышел ненец в меховой малице с низко нахлобученным лохматым колпаком. В эти труднодоступные края, куда добраться можно было разве что на оленях, еще не дошла весть о крушении царской власти. Не наступила и весна. Деревья дремали, укрытые пушистыми снеговыми покрывалами. Лишь пронизывающие лес солнечные лучи – не дающие тепла, но уже обнадеживающе яркие – свидетельствовали о том, что зима со дня на день сдаст позиции.

Ненец спустился к реке, топором проломил корку льда, наросшую на проверченной с вечера лунке, и за каких-нибудь пару часов наловил столько рыбы, что ее хватило бы на суточный прокорм геологической партии из десяти человек. Ему не надо было так много, но азарт рыбака не позволил остановиться вовремя. Да и не было беды в лишнем улове. Морозы спадут не скоро, неделю-две добыча прекрасно сохранится, если ее развесить на столбах, врытых возле жилища.

Довольный собой, ненец возвращался к избе и еще издали закричал, воздев над головой метровую рыбину:

– Эй! Никора! Смотри, какая семга ловил Пырерко! И ряпушки три раза по пять! – Он горделиво вскинул второй рукой проволочный кукан с нанизанными на него и уже успевшими заиндеветь рыбешками помельче. – Богатый ужин сегодня!

Тот, к кому обращался добытчик, не откликнулся. Зато из избы стремглав вылетел белый кудлатый пес. Два года назад ненец спас его в лесу от медведя, принес домой израненного и целый месяц кормил с помощью самодельной соски. Выходил, вернул к жизни. Пес сделался самым верным его товарищем и не раз доказывал свою преданность на охоте, когда доводилось отбиваться от хищников. Теперь он несся навстречу, явно соскучившись за те часы, что хозяин провел на рыбалке.

– Молодец! – засмеялся ненец, открепил от кукана жирную ряпушку и бросил на снег. – Держи, это тебе.

Но пес промчался мимо гостинца и, подпрыгнув на манер каучукового мяча, вцепился клыками в горло своего благодетеля.

Ненец подобного не ожидал, не успел среагировать и, сбитый с ног, повалился навзничь в сугробину. Семга и кукан с ряпушками выпали из его пальцев. Он попытался схватить обезумевшего пса за шею, но тот уже вгрызся в кадык, и оттуда прыснул багровый фонтанчик. Ненец захрипел, задергался, взбил пятками колкое искристое просо, которым был усеян очищенный от леса пятачок перед избой, и затих.

Расправившись с тем, кто был ему дороже всех на свете, пес поджал хвост и потрусил к нависшей над Печорой горушке. Вскарabкаться на бесформенное нагромождение камней без должной сноровки было нелегко, но пес не раз проделывал этот путь и через минуту уже стоял на вершине. Ветерок шевелил вздыбленную шерсть. Пес смотрел вдаль, глаза его слезились, но не от раскаяния или осознания жуткости только что совершенного поступка, а просто от солнечного света. Взгляд животного был, скорее, веселым, в нем сквозила шальная бесшабашность.

Потоптавшись на краю скального выступа, пес разбежался, насколько позволяла неширокая площадка, и ринулся в пронизанный холодом простор. Раскинул в стороны лапы и на какой-то миг вообразил себя птицей, взмывающей к небу. Но полет тут же сменился беспорядком.

дочным падением. Пес раза три перекувырнулся, с высоты шлепнулся на лед и застыл мохнатым комом, на который стали медленно сеяться из-под лазоревых облаков ласковые снежинки.

Глава I, в которой повествуется об обитателе палаты № 18 и его ночном госте

Психоневрологическая клиника Московского университета в Хамовниках была хорошо известна еще в дореволюционной России. Построенная в конце девятнадцатого века на деньги вдовы купца Морозова, страдавшего душевным недугом, она считалась одной из лучших не только в стране, но и в Европе. Здесь отказались от смиренных рубашек и карцеров для буйнопомешанных и практиковали прогрессивные методы лечения. Курсы психотерапии были платными, поэтому попадали сюда в основном избранные: живописец Врубель, основатель народного хора Пятницкий и даже первый чемпион мира по шахматам Стейниц, у которого случилось обострение нервной болезни во время проходившего в Москве матча-реванша.

После революции клинику возглавил заслуженный психиатр Ганнушкин, который продолжал следовать устоявшимся традициям. Методы были все такими же прогрессивными, отношение к постояльцам гуманным, а плата за их содержание и обслуживание столь высокой, что ее могли позволить себе лишь представители нарождавшейся советской элиты.

Во второй половине декабря 1925 года в этом привилегированном заведении появился еще один клиент. Он не принадлежал к элите, его имя не гремело по всей стране, он не купался в лучах народной любви. Напротив, перед тем как перевести в клинику Ганнушкина, его три недели держали в Лефортовской тюрьме как подозреваемого в государственном преступлении. В каких конкретно прегрешениях он оказался замешан, знал узкий круг лиц, приближенных к руководству Объединенного политического управления. Следствие длилось с конца ноября, а между тем состояние здоровья узника постепенно ухудшалось. От него поступали жалобы на головную боль и галлюцинации, конвойные докладывали начальству, что он часто бормочет во сне какую-то абракадабру, а однажды, когда ему принесли тюремный обед, он выплеснул брюквенную похлебку в нужник с фекалиями и принялся бегать по камере, стуча ложкой в дно железной миски, как в шаманский бубен.

Это было все, что рассказал Ганнушкину руководитель Специального отдела ОГПУ Глеб Иванович Бокий, когда попросил принять арестанта для проведения комплексного обследования. Санкцию на перевод дал лично товарищ Дзержинский, из чего следовало, что арестант – фигура важная. Причем Бокий не скрывал своих симпатий к последнему и дал понять Ганнушкину, что пребывание гражданина Арсеньева Вадима Сергеевича (так звали подследственного) в Хамовниках нелишним будет растянуть на максимально длительный срок. Вероятнее всего, Глеб Иванович рассчитывал: пока медики будут проводить освидетельствование, удастся спустить уголовное дело на тормозах.

Вот такая кривая привела Вадима Арсеньева в знаменитую психушку. По правде сказать, ночные бормотания и пляски с посудой были частью хитроумной комбинации, разработанной его непосредственным шефом Александром Васильевичем Барченко. Вадим входил в состав особой группы при Спецотделе, которая не имела аналогов не то что в Союзе, но и во всем мире. Барченко скрупулезно отбирал в нее людей, наделенных необычайными способностями, и Вадим слыл одной из жемчужин его коллекции. Умение видеть в темноте, считать быстрее машины Бэббиджа и улавливать тишайшие звуки – вот далеко не полный перечень способностей Арсеньева В. С. Имел ли право Александр Васильевич разбрасываться такими раритетами?

Сразу после того как Вадима заперли на Лефортовском валу, шеф стал обивать пороги вышестоящих инстанций и требовать справедливости. В его настоятельных просьбах резона было более чем достаточно: обвинения, выдвинутые против Вадима, шатались, как ветхий

плетень, и норовили рухнуть сами по себе. Непредвзятый дознаватель давно бы уже во всем разобрался, но в ход расследования вмешалась политика. Внутри правоохранительных органов существовали серьезные разногласия. В особенности усердствовал могущественный Генрих Ягода, считавший Бокия врагом, а все его окружение – антисоветской камарильей. Его то гиены и вкогтили в Вадима, надеясь тем самым подорвать авторитет сначала Александра Васильевича, а затем и Глеба Ивановича. Допустить подобный произвол было никак невозможно, поэтому влиятельные сторонники Вадима постарались вывести его, а заодно и себя, из-под удара. Свидания в Лефортово ему не разрешались, однако Барченко исхитрился передать через подкупленного часового записочку, в которой давались подробные инструкции: что и как делать. В тюрьме и без того считали арестованного человеком не от мира сего, а когда он устроил ритуальные танцы и прочие сумасбродства, были рады поскорее от него избавиться.

Перевод из тюремных застенков в клинику гарантировал Вадиму передышку в относительно комфортных условиях. К тому же Барченко и Бокий опасались, как бы в камере к заключенному не применили радикальных допросных мер, которые порой ломали даже самых стойких.

Ганнушкин поселил Арсеньева в палату номер восемнадцать. Она мало чем отличалась от люксовой комнаты в какой-нибудь московской гостинице. Разве что стекла на окнах были изготовлены из сверхпрочного стекла, а дверь на ночь запиралась снаружи. Несмотря на всю либеральность, царившую в лечебнице, персоналу поручалось осуществлять за подопечными строжайший надзор. Ловить разбежавшихся по Москве психов, способных натворить что угодно, – себе дороже.

После лефортовской одиночки Вадим ощущал себя как в санатории. Сухо, с потолка не каплет, тараканов не видно. Койка пружинная, постель меняют раз в три дня. Кормят не прокисшей баландой, а блюдами из приличной госстоловой. Барченко добился, чтобы его любимца обеспечили по высшему разряду, счета оплачивались из бюджета Спецотдела. Для полного счастья не хватало воли и, что не менее важно, определенности. Опытный Ганнушкин в первый же день установил, что перед ним не душевнобольной. Но, памятуя наказ Бокия, он не торопился выносить вердикт. Вадиму время от времени докучали глупейшими тестами, просили дотронуться пальцем до кончика носа, постоять на одной ноге и пройти по нарисованной мелом линии. Все было чистой профанацией: он это осознавал и не возмущался. Уж очень не хотелось обратно в Лефортово.

В целом же дни его протекали бесхлопотно и покойно. Иногда, в хорошую погоду, ему позволялось выйти в сад, подаренный клинике, как утверждали, самим графом Толстым, чье имение находилось поблизости. Там жильцы (Ганнушкин запретил употреблять слово «пациенты») прогуливались между заснеженных деревьев и занимались посильным физическим трудом, что являлось частью терапии. Вадим, уставший от вынужденного безделья, с удовольствием разгребал снег на дорожках, скалывал ломом льдистые наросты со ступенек и с наслаждением вдыхал стылый воздух.

Так длилось до двадцатого декабря. В этот день Вадим работал в саду до темноты, потом с аппетитом поужинал, удалился к себе в палату и завалился на кровать со свежей книгой, которую прислал добрейший Александр Васильевич, осведомленный о страсти питомца к литературным новинкам.

Время, как всегда бывает, когда читаешь что-то чрезвычайно затягивающее, помчалось галопом. В десять вечера Вадим уловил краем уха, как щелкнул дверной замок – это ночной дежурный обходил здание, запирая проживальщиков. До утра им незачем выходить из келий. Для питья есть графин с водой, а для естественных надобностей – судно в углу. На случай форс-мажора, требующего посторонней помощи, в каждой палате имелся электрический звонок для вызова санитаря.

Вадим читал до полуночи, пока не устали глаза. Решив, что пора на боковую, он положил книгу на тумбочку и переделся в больничную пижаму – еще одна дань заведенным порядкам, пожалуй, излишняя. Ночами в клинике топили, как в бане, поэтому приходилось открывать форточку, чтобы не донимала духота. Вот и сейчас Вадим подошел к окну, впустил в палату сквознячок и постоял немного, взглядываясь во мглу сада. В поле видимости стоял разлапистый клен, нагой, как и все остальные деревья, и снизу доверху покрытый блестящей пленкой инея. Он возвышался, чуть накренившись, и, колеблемый ветром, натужно вздрагивал, словно незадачливый бедолага, пытающийся выдернуть увязшую в сугробе ногу. Вадим, сам не зная почему, засмотрелся на него.

За спиной что-то скрежетнуло в замочной скважине. Оторвавшись от законного зрелища, Вадим обернулся. При нем еще не бывало такого, чтобы санитары в неурочный час беспокоили «психических».

Дверь приотворилась, и в палату скользнул незнакомец невысокого роста, со скуластым крестьянским лицом и курчавыми волосами, которые, наверное, когда-то были по-юношески светло-русыми, но сейчас поблекли и стали жухлыми, как прелая солома.

– До-обрый вечер, – прозвучал в тиши тягучий распевный голос. – Не разбуди-ил?

Вадим пригляделся к гостю и опешил. Незнакомец? Как бы не так! Этого человека знала вся Москва... да что там Москва – вся Россия от Мурмана до Чукотки! Вадим никогда не видел его вживую, но портреты в книжках, фотографии в журналах...

– Это вы? – спросил Вадим с придыханием. – «Не жалею, не зову, не плачу...» Я читал ваши стихи!

– Их все читали, – ответил посетитель без малейшей рисовки.

Чувствовалось, что он уже давно пресытился своей популярностью и относится к ней как к чему-то бесполезному, но неизбежному.

На госте была такая же точно полосатая пижама, как и на Вадиме. Выходит, он тоже определен на постой в клинику Ганнушкина. Но Вадим ни разу его не встречал – ни в коридорах, ни в процедурных кабинетах, ни во дворе.

– Я здесь с ноября, – пояснил желтоволосый и внезапно забеспокоился: – Скажите, а вы не бу-уй-ный? Не набро-оситесь на меня с табуреткой? А то я страсть этого не люблю... У меня столько драк было в кабаках. Теперь хо-очется покоя.

Вадим уверил гостя в своей нормальности. Вкратце поведал историю попадания в клинику – наполовину правдивую, наполовину вымышленную. Сказал, что работает в органах, недавно угодил в переплет, связанный с поимкой враждебных элементов, что отразилось на душевном равновесии. Направлен для реабилитации и поднятия жизненного тонуса.

– Вот-вот, – кивнул поэт, усаживаясь на койку. – Меня тоже для то-онуса... Сонечка постаралась. Жена. – Его по-детски припухлые губы прорезала нерадостная усмешка. – Три месяца, как расписа-ались, а я ее уже не люблю. И она меня тоже.

– Почему вы знаете? – Вадим присел рядом.

– А вы разве не умеете чу-увствовать, когда женщина любит, а когда не-ет? Меня если кто и любил по-настоящему, так только Га-алка Бениславская. Другие – временно, а эта – до гроба. И сейчас любит. Да вот незада-ача: смешная она. Не могу к ней серьезно относи-иться. А когда к женщине несерьезно – какая ж любо-овь?

– Как вы ко мне в палату попали? – запоздало поинтересовался Вадим. – Заперто ведь. Посетитель показал связку ключей.

– Сторожа Семена зна-аете? У нас с ним одна и та же хвороба... – Он постучал себя согнутым указательным пальцем по горлу. – Я ему деньги даю, а он из магази-ина горькую таскает. Но вы не подумайте, я уже три дня как в завязке. Бро-осил, надоело...

И правда – спиртным от него не пахло, хотя дряблая кожа тусклого цвета, мешки под голубыми глазами и мелкая дрожь в пальцах недвусмысленно указывали на то, что пагубная привычка отнюдь не преодолена.

– Сегодня Семен поллитровку вы-ылакал. И свою порцию, и мою... В дворницкой храпит. А я у него ключи вытащил и пошел по больнице. Дай, думаю, поговорю с кем-нибудь. Тоска заела. Невы-носи-имо...

Это он не соврал. Тоской в нем было проникнуто все: и согбенная фигура, и бесстрастный голос, и слова, которые он ронял рассеянно и тихо.

– Я могу чем-нибудь помочь? – деликатно осведомился Вадим.

Вопрос был праздный. Чем поможешь, когда сам находишься в подвешенном состоянии и не знаешь, что тебя ждет завтра? Сидишь на пороховой бочке и играешь в орлянку: рванет, не рванет?

«Я и утешить его не сумею, – подумал Вадим. – Если лучшие психологи не справились, то куда мне-то?»

Но желтоголовый неожиданно отринул меланхолию, выпрямился. Его васильковый взор блуждал по собеседнику.

– У меня начались видения. Понимаете? Чу-удится, будто ко мне ночами приходит человек, весь в черном... садится возле изголовья и городит всякие гадости... Я даже поэму об этом написал. «Друг мой, друг мой, я очень и очень бо-олен. Сам не знаю, откуда взялась эта бо-оль...» Черт!.. – Его восковое чело собралось складками. – Уже и собственные стихи забываю... Что с мозгами?!

У Вадима едва не сорвалось с языка, что и в его биографии тоже присутствовал Черный Человек. Но то была совсем другая история, и зловещий персонаж, каким бы мистическим он ни казался, обрел в итоге реальные черты. Нет, сопоставлять нечего. Червь, который точит желтоволосого, иной породы. И не факт, что земной.

– Приходит и приходит... каждую ночь... – бормотал гость, сбиваясь с напевности на речитатив. – И садится, и долдонит... а однажды мне петлю на шею накинул, представляете? «В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно...» Что мне с ним делать? Подскажите!

Вадим смотрел на посетителя с возрастающим беспокойством. Не кликнуть ли санитаров? Вкололи бы морфию – пусть успокоится бедняга. А то вон как затрясся, руки ходуном заходили. Еще чего доброго припадок приключится.

– Иногда вроде нормально, – продолжал мастер, доставая из кармана серебряный портсигар, – а иногда прямо спасу нет. «В декабре в той стране снег до дьявола чист, и метели заводят веселые прялки...»

Он раскрыл портсигар. Крышка с резным вензелем «СЕ» упруго откинулась, и тотчас затренькала тоненькая мелодийка, как из музыкальной шкатулки. Липкая такая, нерусская. Вадим не смог припомнить, слышал ли ее когда-нибудь.

Портсигар внутри был разделен на две части: в правой болталась одинокая фабричная папироса с тавром «Сафо», а в левой тесно, как пассажиры в трамвае, умещались толстые самокрутки.

Желтоволосый силился ухватить прыгающими пальцами «Сафо», но у него не получалось.

– Изысканная штучка, – сказал Вадим, чтобы отвлечь его от дурных мыслей и настроить на позитивный лад. – За границей купили?

– Нет, подарок...

Папироса в холеных, давно отвыкших от сельской работы пальцах выскочила наконец из портсигара, заизвивалась гусеницей, из нее посыпались крошки табака. Желтоволосый поднес

ее ко рту, да так и замер, вперившись в окно над плечом Вадима. В синих болотцах под белесыми бровями появилась рябь и отразился неподдельный испуг.

– Видите? Вы видите?

Вадим повернулся к черному прямоугольнику, за которым столбенели облепленные снегом деревья.

– Что там такое?

– Вы что, ослепли? Вон же он! Под кленом... черный!..

Портсигар упал на пол, за ним последовала сломанная пополам папироса. Серебряная крышка захлопнулась, и музыка перестала раздражающе тренькать. Поэт сорвался с койки, подбежал к окну и влип носом в стекло. Вадим встал, посмотрел через плечо гостя в сад. Ничего там не было особенного: клен как клен, возле него дубы и елки, посаженные, как заверял Ганнушкин, маститыми учеными Европы, приехавшими в Москву для консультации с русскими коллегами. В больничном парке ни души. Из звуков свист разгулявшегося ветра и дребезжание жестяных карнизов.

– Там никого нет, – мягко произнес Вадим, обдумывая, что будет делать, если неуравновешенный визитер начнет биться в корчах.

Однако тот повел себя по-другому. Накатившая на него волна как будто отхлынула, искаженное гримасой лицо разгладилось и приняло выражение растерянности. Он переводил взгляд с окна на Вадима, с Вадима на окно, и с губ его слетали обрывочные фразы:

– Но он же был там! Вы видели? Такой мерзкий, в цилиндре, с тросточкой... Скалился, словоч!.. А над ним, на суку, петля...

Вадим пришел к выводу, что приступа не будет. Кудрявый утихомирился, руки плетью повисли вдоль туловища.

За дверью послышались шаги – это дежурный смотритель клиники совершал ночной обход. Вадим бесшумно подскочил к ночнику и погасил его. Сделал гостю знак: молчите! Оба на некоторое время превратились в скульптурную композицию. Смотритель подошел к двери, прислушался. Сверхчуткие уши Вадима улавливали каждое его движение. Вот он наклонился, принял к замочной скважине, но, конечно, ничего не увидел и не услышал. Палата номер восемнадцать безмолвствовала. Постояв чуток, смотритель двинулся дальше. Вадим не стал зажигать лампу, ему она не требовалась. Он взял гостя за руку и подвел к стулу.

– Сядьте. – Вадим поднял с пола оброненную вещь. – Держите, это ваше.

Желтоволосый механически взял протянутый портсигар и, забыв о недавнем желании закурить, опустил его в карман пижамы. Он промолвил надтреснуто, с вернувшейся в голос напевностью:

– Спасибо. Мне пора-а... Не говорите никому. О том, что меня к мозгоправам определили, знают только Соня и еще три-четыре человека. Если пронюхает публика, начну-утся пересуды, это всегда неприятно. Вокруг меня и без того столько сплетен, что хоть фамилию меняй и ха-арю перекраивай...

– Я никому не скажу, – пообещал Вадим. – Честно.

Поэт пожал ему руку – крепко, по-рабоче-крестьянски – и направился к двери, но остановился, заговорил вполголоса:

– Вы, я вижу, человек у-умный. И предлагали мне помощь...

– Если это в моих силах...

– Я чую: со мной в ближайшее время мо-ожет стрястись беда. Не знаю какая, но что-то непоправимое. Вот тогда, может быть, я к вам и обращусь.

Вадим чуть не ляпнул: если непоправимое, не поздно ли будет обращаться? Но прикусил язык, смолчал.

– Дайте слово, что не откажете мне в про-осьбе.

– Даю. Значит, мы еще увидимся?

– Надеюсь. Но уже не здесь. Завтра я выписываюсь из клиники.
– Не р-рано ли? – усомнился Вадим. – Нервы у вас шалют, надо бы еще подлечиться.
– Как мертвому припа-арки, – отмахнулся поэт. – Я все решил. Выпишусь и уеду в Ленинград. Навестите меня там, если будет возможность.
– Я бы с удовольствием, но вряд ли меня скоро отсюда выпустят.
– Выпустят. У меня предвидение. Да и она так сказала...
– Кто она?
– Неважно. Но я ей верю. – Желтоволосяй взялся за дверную ручку. – Спокойной но-очи. Он вышел, шаркая тряпичными тапочками и позванивая ключами на стальном кольце. Вадим остался в палате один, лег на койку с намерением заснуть, но сон не шел. Визит человека со спутанными волосами цвета переспелой дыни выбил из колеи, заставил погрузиться в тяжкие думы.

Проще всего списать бред насчет Черного Человека на поврежденную психику, которой изрядно вредили напряженные творческие бдения и перебор с алкоголем. Но где-то в Вадимовом подсознании сидела твердая убежденность, что за всем этим что-то кроется. То, против чего бессильны прогрессивные методы клиники Московского университета.

После волнующей беседы с гением минуло больше недели. Вадим, как и прежде, был заперт в периметре больничного двора: убивал время, разгребая наносы под стенами здания и читая книги. Он уже смирился с тем, что Новый год встретит у себя в палате, под шорох шагов медбрата, крадущегося по коридору.

Желтоволосяй больше не объявлялся. Вадим попробовал расспросить о нем сердобольных нянечек – самую разговорчивую часть персонала. Но старушки, служившие в клинике еще со времен ее первого главврача Корсакова, непонимающе хлопали наивными глазками, переспрашивали «Ась?», изображали на сморщенных, как печеная картошка, личиках удивленные мины – в общем, всячески строили из себя неосведомленных дурочек. Даже сторож Семен, которого Вадим подловил в минуту подпития – наиболее располагающую к доверительному разговору, – на вопрос о тайном собутельнике разыграл полнейшее неведение. Поэт как в воду канул, и Вадиму стало казаться, что его приход был не более чем плодом расшалившегося под полночную вьюгу воображения.

В преддверии Новогодья помещения в клинике задрапировали цветными бумажными ленточками и вырезанными из салфеток снежинками. Вадиму это настроения не прибавило – он поймал себя на том, что день ото дня все глубже погружается в ипохондрию. Есть он стал очень мало, страдал бессонницей, на расспросы медиков отвечал невпопад, книги – единственная отрада – потеряли для него интерес.

Неизвестно, чем бы закончилась эта мерехлюндия, если б вечером 29 декабря, в день, когда грянула негаданная оттепель, к главному входу больницы не подъехал лакированный автомобиль с затемненными окошками. Из него вышли двое в барашковых шапках и перетянутых ремнями шинелях, показали стоявшему у дверей Семену красные мандаты и беспрепятственно проследовали в кабинет Ганнушкина, а оттуда в восемнадцатую палату.

Вадим лежал на кровати, закинув руки за голову, и от нечего делать мысленно возводил в куб трехзначные числа. Люди в барашковых шапках приказали ему подняться, переодеться и следовать за ними. Мандатов не показали, но он и так догадался: посланцы из ОГПУ. Упрашивать себя не заставил, оделся по-военному быстро, благо предупрежденная Ганнушкиным кастелянша мигом выдала гражданское облачение, в котором Вадима доставили из тюрьмы.

Лакированное авто зафырчало мотором и отбыло в ночь. Вадима втиснули на заднее сиденье, между двумя шинельными. Вышколенный водитель сидел за рулем и ни разу не обернулся.

Машина выехала на Большую Царицынскую, переименованную год назад в Пироговскую, а оттуда на Гоголевский бульвар. Вадим крутил головой, стараясь проникнуть взглядом сквозь запотевшие стекла и угадать маршрут. Когда вывернули на Моховую, стало ясно: автомобиль следует к Лубянке. Теперь вставал другой вопрос: зачем?

В эти дни в Москве проходил четырнадцатый съезд ВКП (б), в ходе которого в идейной схватке схлестнулись группы Сталина и Зиновьева с Каменевым. Политические весы колебались, и у каждой из групп имелись свои люди во всех эшелонах власти. Вадим, уже месяц находившийся на информационной диете, не ведал, кто сейчас на коне. Если взяли верх покровители Ягоды, то вполне вероятно, что политуправление поставлено с ног на голову. В такой обстановке могли вычистить всех неугодных, а заключенного Арсеньева по-тихому шлепнуть без суда.

Сердце екнуло, стало знобко и неудобно, когда лакированный автомобиль затормозил возле знакомых строений на Лубянской площади. Двое в барашковых шапках взяли подконвойного за предплечья и повели... нет, не во внутреннюю тюрьму, как он предполагал, а в административный корпус. Значит, сажать в камеру и тем более расстреливать пока не собираются.

На протяжении всего пути от Хамовников Вадим молчал. Выспрашивать у сопровождающих, куда и для чего везут, не имело смысла – он хорошо изучил повадки особистов и не намерен был впустую сотрясать воздух.

Ковровые дорожки, устилавшие лестничные пролеты, скрадывали стук кованых сапог. Вадима провели коридором и втокнули сначала в приемную, а из нее, минуя согнувшегося над «Ремингтоном» секретаря, – в апартаменты, на двери которых висела латунная табличка с надписью: «Заместитель председателя ОГПУ тов. В. Р. Менжинский».

Вадим увидел письменный стол, а за ним человека лет пятидесяти в круглых, как у Барченко, очках, с густыми седеющими усами и ниспадающей на правый глаз челкой. Он что-то писал английским пером на листе серой бумаги, но при появлении посторонних резво спрятал написанное в картонную папку. Заметив грубость шинельных по отношению к Вадиму, проворчал:

– Полегче!.. – И взмахом руки велел им удалиться. После чего указал ему на свободный стул. – Присаживайтесь.

По должности Вячеслав Рудольфович Менжинский был вторым в политуправлении, но в последние месяцы чаще всего играл первую скрипку, поскольку перегруженный многочисленными обязанностями Дзержинский физически не мог поспеть всюду и куда больше времени уделял совещаниям по народному хозяйству.

Прежде Вадим видел Менжинского лишь на расстоянии – служебная иерархия не позволяла им пересекаться. Сын польского народа, Вячеслав Рудольфович хоть и слыл демократичным, но все же придерживался мнения, что всяк хорош на своем месте и негоже прикидываться рубахой-парнем, снисходя до панибратства с низшими звеньями. Впрочем, свои панские замашки он не демонстрировал слишком очевидно. И вообще, называл себя русским, а о польском происхождении вспоминал разве что в минуты гнева или чрезмерного волнения – тогда с его уст срывались малопонятные для окружающих шляхетские соленые словечки.

Вадим робко присел на предложенный стул с гнутой спинкой. Он ждал, что будет дальше.

Менжинский, как все занятые работники, ценящие время на вес золота, приступил к делу сразу и без лирических вступлений.

– Я знаком с вашим делом. – Он стукнул карандашом по папке, в которую только что засунул исписанный лист. – Мне ничего не стоит отправить вас в расход. Сотрудники, замаравшие честь мундира, нам не нужны.

– Но я не марал...

– Не спорьте! Вепшовина голима... – Менжинский засопел, и на его лице появилась краснота, свидетельствующая о недовольстве. – Следователи тоже хороши, наворотили чепухи на постном масле. Но даже если четверть того, о чем они пишут в этом талмуде, – снова стук по папке, – правда, то я вам не завидую. – Пауза. На линзы очков прыгнул блик электрического света. – Однако я дам вам шанс исправиться. Искупить вину верным служением.

– Я готов, – пролепетал Вадим, буквально позвончиком ощутивший могильную стынь Лубянских подвалов. – Что от меня требуется?

Менжинский придвинул к себе другую папку – увесистую, кожаную. Вытянул из нее фотографию толстошекого командира в фуражке.

– Узнаёте?

– Котовский...

– Убит шестого августа сего года близ Одессы при весьма загадочных обстоятельствах. Надеюсь, слышали об этом инциденте?

Еще бы не слышать! Гибель именитого комкора потрясла всю страну. Газетчикам не позволили вдаваться в детали, но Вадим имел доступ к некоторым грифованным материалам, дававшим представление о том, что случилось четыре месяца назад в черноморском селении Чабанка. Бессмыслица громоздилась на бессмыслицу: убивший Котовского Мейер Зайдер нес на допросах ахинею и был не в состоянии объяснить, зачем застрелил человека, которого не без оснований почитал за друга и покровителя.

Менжинский сверкнул из-за стеклышек проницательными зрачками.

– Вижу, пересказывать не нужно. За тот месяц, что вы сидели в тюрьме, следствие по Зайдеру не сдвинулось ни на вершок. Этот негодяй... в тыл йому паруфку!.. твердит, что его бес попутал.

– Брешет...

– Проверяли возможность его связи с румынской разведкой. Вздор! Вы бы его видели... Нанимать такого идиота – хуже не придумаешь.

– А если он притворяется?

Вадим не ведал, к чему клонит Менжинский, но постепенно втягивался в дискуссию. Колесики в голове, застоявшиеся от вынужденной праздности, со скрипом прокручивались, освобождаясь от ржавчины.

– Может, и притворяется... Но загвоздка не только в нем. Что вы скажете на это?

Перед Вадимом лег извлеченный из-под кожаной обложки снимок еще одного краскома, грудь которого украшали два ордена Красного Знамени.

– Комментарии излишни, так? – Менжинский помолчал, но все же прибавил: – Михаил Васильевич Фрунзе, наркомвоенмор, председатель Реввоенсовета, кандидат в члены Политбюро... Скончался тридцать первого октября после банальной операции.

Вадим слышал и об этом. Драма в Солдатенковской больнице случилась еще до его ареста. Более того, в начале ноября он присутствовал на похоронах Фрунзе у Кремлевской стены. Бабки на базаре и даже интеллигенты в автобусах шушукались: дескать, нарком умерщвлен агентами Троцкого, смещенного с ключевых постов в пользу Фрунзе. Вадим домыслам не верил, ведь операцию проводил врач, которому доверяли свои жизни первые люди республики. Триста раз проверенный, многократно доказавший на практике свою преданность большевизму. Такой врагам не продастся.

– Вот-вот! – подхватил мысли Вадима всеведущий Менжинский. – Смерть товарища Фрунзе, естественно, тоже расследовалась. Розанов дал показания. – Из кожаной папки выпорхнула бумажка с машинописным текстом. – Та еще галиматья... Сначала он говорит, что полез шарить в брюшной полости, потому что увидел там какие-то дефекты, потом сознаётся, что в этом не было необходимости. А когда спросили, как можно было мешать эфир с хлороформом, он и вовсе замылся, сказал, что это была роковая оплошность...

– Что же – опять полоумие?

– Не многовато ли, как считаете? – Менжинский захлопнул папку и сердито отодвинул ее в сторону. – Три загадочные смерти меньше чем за полгода. И какие люди! Все на виду...

– Три? – Вадим насторожился. – Вы назвали только двоих. Кто третий?

– Ах да... вы же не читали сегодняшнюю прессу. – Менжинский выложил на столешницу исчерканный черным грифелем номер «Ленинградской правды». – Читайте.

Вадим взял газету, и в глаза бросилось страшное фото: труп с приоткрытым ртом и согнутой правой рукой. Он, желтоволосый! А вот и подпись: «Посмертная фотография поэта Есенина, сделанная в гостиничном номере».

– Он умер?.. Как?!

– Да вы читайте, читайте. – Менжинский нервически помял «Герцеговину Флор», закурил. – Потом я дополню.

«Советскую литературу постигла непоправимая утрата, – заплясали в глазах Вадима набранные мелким шрифтом строчки. – Утром 28 декабря в номере гостиницы „Англетер“ в Ленинграде был найден повешенным поэт Сергей Есенин. Тело было обнаружено висящим на отопительной трубе на высоте приблизительно трех метров. Согласно заключению медэкспертов, смерть наступила вследствие удушья. По словам близких поэта, причиной могло стать острое неприятие окружающей реальности...»

Вадим оторвался от чтения, в глазах зашипало.

– Это не р-розыгрыш?

– Кто бы стал шутить такими вещами, бляха конска? – Менжинский глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри. – Он выехал из Москвы двадцать четвертого декабря, перед тем снял с банковского счета все сбережения и аннулировал договоренности с Госиздатом.

– Зачем?

– Вы кого спрашиваете – меня? Я не провидец, нех ме пёрун тшасьне... – Менжинский распялся все пуще, багровел, как спелый помидор. – Он давно был у нас под наблюдением. Есть распоряжение Феликса Эдмундовича присмотреть за ним.

– Как за антисоветчиком?

– При чем здесь антисоветчина? Ни с кем так не нянчились! В октябре Раковский... наш полпред в Британии... обратился к товарищу Дзержинскому с просьбой приставить к Есенину надежного человека, чтобы не давать ему пьянствовать. Видали вы такое? – Зампред ОГПУ злобно пожевал окурки и выплюнул его в пепельницу. – А этот гениальный литератор отказался от лечения, которое ему прописали. Отбыл в Ленинград. Там его взял под опеку Устинов, наш доверенный... поселил в лучшую гостиницу, присматривал за ним, как за малым дитем, дьябел го порве... И вот чем закончилось!

Вадим отпихнул от себя газету. Вид мертвеца на фото пугал хуже любого жупела. Вспомнилось все, слышанное той ночью в палате: и про Черного Человека, и про петлю, и про возможную скорую смерть.

– А это точно самоубийство?

– Точнее не бывает. Управляющий гостиницей Назаров – тоже из наших... Охрана на уровне, мышшь не проскочит. Всех, кто приходил накануне, уже проверили. А теперь скажите: кой черт дернул его повеситься, а?

– Я не знаю...

В горле у Вадима пересохло, Менжинский подметил это и подал ему стакан с водой.

– Пейте... И подумайте над тем, почему я выдержал вас из теплого больничного гнездышка, где из вас лепили ненормального. Что, тоже не знаете? Враки! Есенин заходил к вам перед выпиской. Смотритель Бобров видел, как он крался потом из вашей палаты в свою. О чем вы разговаривали?

Вадим поперхнулся водой, прокашлялся, выгадал десяток секунд, чтобы наскоро обдумать ответ.

– Ни о чем... Ему было одиноко, жаловался на сплин, на видения, которые его преследуют.

– Какие видения?

Вадим замешкался, вспомнил обещание молчать, но решил, что вряд ли оно уже имеет силу. В общих чертах он пересказал Менжинскому все, чему стал свидетелем в те пятнадцать-двадцать минут общения с поэтом. Упомянул и о Черном Человеке, и о странной эмоциональной вспышке, которая угадала так же внезапно, как и разразилась.

– И что это, по-вашему? – произнес хозяин кабинета. – Еще одно умопомрачение?

Вадим вздернул плечами: мол, кто теперь скажет? Зампред ОГПУ блеснул окулярами и, как самый главный козырь, выудил из папки еще один листочек – маленький, чуть больше стандартной почтовой открытки.

– Незадолго до смерти покойный передал своему приятелю Эрлиху записку, написанную кровью. Стихотворение. Хотите полюбопытствовать?

Вадим взял листочек, вчитался в размашисто накорябанные строфы: «До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди...» Стих был короткий, но Менжинский не дал дочитать до конца.

– Если задействовать не зрение, а нюх, то все куда занятнее.

Вадим покорно поднес листочек к носу. Пахнуло лимоном и – менее выражено – бергамотом. Такой букет ни с чем не спутаешь.

– Вижу, угадали, – постно засмеялся Вячеслав Рудольфович. – «Тройной одеколон» государственной мыльно-парфюмерной фабрики «Новая заря». Эрлих, в отличие от вас, унюхал сразу. И задался вопросом: к чему бы этой бумажонке пахнуть кельнской водичкой, которой Есенин пользоваться не любил и возил с собой, насколько известно, как обеззараживающее средство?

Вадим помалкивал, выжидал. Менжинский взял у него листочек, побрызгал на него водой из графина и растер ее фалангой мизинца так, чтобы не задеть кровавых литер.

– А теперь – але оп! Взгляните.

На мокром листке Вадим различил начертанные между рифмованных строчек другие – маленькие, полустертые. Они гласили: «Вадим Арсеньев. Он разгадает».

– Ну-с, – ухмыльнулся Вячеслав Рудольфович, – будете отпираться или чистосердечно признаетесь?

– В чем? – Вадим оторопело вертел бумажку, надеясь вырвать у нее еще какую-нибудь подсказку. – Не думаете же вы, что это я его задушил и на трубу подвесил?

– Не придуривайтесь! Убить не убили, но что-то вам известно. Иначе к чему эта писанина? – Менжинский отнял у Вадима листок, разгладил ладонями на подставке лампы. – Если бы не она, стал бы я с вами вошкаться!

Вадим судорожно соображал. Есенин вручил писульку Эрлиху, который, как ему, конечно, было ведомо, сотрудничал с ОГПУ. То есть записка предназначалась органам. Стих – это так, для эффекта. Не мог поэт без стиха. Важнее то, что вписано бледными, но вполне разборчивыми одеколонными буквами. Не заметить нельзя. Особисты заметили – и пошло-поехало: вытащили Вадима Арсеньева из клетки, приволокли на Лубянку, надеются, что он, как факир из шляпы, достанет им ключ ко всем головоломкам последних месяцев.

«Вас выпустят. У меня предвидение» – так сказал желтоволосый, прощаясь. Спасибо, выпустили. Но надолго ли?

Менжинский расстегнул кобуру и положил перед собой револьвер.

– Раз вы все понимаете – посодействуйте следствию. Это же одного поля ягоды, так? – Он обмахнул коричневым от табака ногтем три снимка, что теснились в ряд на столе. – Учтите, я в

порчи и проклятия не верю. У вас в особой группе всякие паранормальные опыты проводятся, воздействие на сознание и все такое... Не отсюда ли ноги растут?

Вадим съезжился. Ясно, куда гнет зампред. Кто-то внушил ему, что в политуправлении засели вероломные вредители, изводят своими сатанинскими штучками цвет нации. И даже известно, *кто* внушил. Ягода гадит, кому ж еще!

– Будем в молчанку играть или как?

Вячеслав Рудольфович взял револьвер, покрутил барабан, проверяя наличие патронов. Вадим разлепил спекшиеся губы:

– В чем я должен сознаться?

– То бьеса варто! Выкладывайте как на духу, если не хотите пулю схлопотать. И про Есенина, и про этих двоих... – Менжинский потыкал дулом «нагана» в изображения Котовского и Фрунзе. – Услышу правду – сохраню вам жизнь. Нет – пеняйте на себя. Считаю до пяти.

Он нацелил вороненый ствол в переносье Вадима и начал размеренно отсчитывать:

– Едэн, два, тжи...

Вадим заледенел на своем стуле, сидел не шевелясь, подобно древнеегипетскому сфинксу. Завороженно глядя в черный зрак револьвера, он только и смог выдавить:

– Мне нечего сказать...

Выстрелит, не выстрелит?

– ...чтэри, пьеч. До видзення!

Указательный палец Вячеслава Рудольфовича надавил на спусковую скобу. «Наган» издал смачный щелчок, Вадим дернулся, ожидая, что из дула вылетит смерть. Но ни грома, ни пламени, ни обжигающей боли – ничего не было.

Менжинский рассмеялся, вставил в барабан ловко вынутый перед тем патрон и убрал оружие в кобуру.

– А вы молодец! Держались отменно. Пожалуй, подойдете.

– Для чего? – прохрипел Вадим, еще не веря, что ему сохранили жизнь.

– Для дела. Кто за вас всю эту петрушку раскручивать будет? – Вячеслав Рудольфович побарабанил костяшками пальцев по записке Есенина. – Здесь про вас написано: «Он разгадает». Иными словами, ни черта вы не знаете, но можете узнать. Он почему-то в вас не сомневался. Придется и мне поверить... Короче говоря, с сегодняшнего дня ваш арест отменяется. Как уполномоченный представитель политического управления, назначаетесь ответственным за расследование этой чертовщины. Вы у нас спец по аномальностям, вам и карты в руки. Без них, родимых, тут не обошлось.

– Я не спец. Вот Александр Васи...

– Овца кепська! Что вы мне своего Александра Васильевича тычете? Хотите, чтобы я весь Спецотдел во главе с Бокием вам в помощь отрядил? Расследование будете вести конфиденциально, о возможной связи этих трех смертей распространяться запрещаю. По личным вопросам никому не звонить, ни с кем не встречаться. Сегодня же отправляетесь в Ленинград, где вам передадут материалы по Есенину. Далее действуйте по обстоятельствам. О результатах докладывать непосредственно мне. Усвоили?

– Так точно. – Вадим решил не спорить. – Я поеду один?

– Хитрец! Вас выпусти, а вы улизнете... Нет уж! С вами поедут мои люди. Пособят в случае чего... заодно и присмотрят, чтобы вы какой-нибудь фортель не выкинули. И зарубите себе на носу: не справитесь с заданием – помилования не ждите.

Глава II, где с главным героем происходят как мелкие, так и крупные неприятности

Невероятные виражи выделяет фортуна! Еще утром Вадим сидел в больничном затворе, потом прощался с бранным бытием под прицелом револьвера на Лубянке, а ночью уже покачивался на нижней полке спального вагона, следующего из Москвы в Ленинград. Контора расщедрилась – билеты оплатили не в жестком плацкарте, провонявшем портянками и солдатским куревом, а в мягком, комфортабельном, с откидными спинками диванчиков и, что имело особенное значение в разгар зимы, водяным отоплением. Паровой котел пыхтел без устали, и пассажиры, выбегая на перрон к будкам с кипятком, ощущали резкий температурный контраст.

Вадим, впрочем, никуда не выбегал – для этого имелись сопровождающие. Первый носил фамилию, годящуюся для циркового паяца, – Горбоклов. Звали его Петром, но за глаза иначе как Петрушкой не величали. Лет сорока, обряженный в латаный простонародный кафтан, суетливый, несуразный, с мотыляющимися до колен руками и растущей клочками бородачкой – сложно было представить себе субъекта, менее подходящего для службы во всеильном карательном учреждении. Выходец из смоленских землепашцев, он успел окончить два класса церковноприходской школы и никакого другого образования не получил. Тем не менее Вячеслав Рудольфович Горбоклова ценил – и было за что. Поскольку этого клоуна никто не воспринимал всерьез, он легко втирался в любые компании. Оказывал мелкие услуги (за тем же кипятком сгонять), хихикал над несмешными шутками окружающих, сам травил тупые старорежимные анекдоты, выставляя себя на посмешище. А чего людям надобно? Почувствовать свое превосходство над ближним. Петрушка редко отказывал им в такой любезности и поэтому неизменно завоевывал доверие, под шумок выведывая нужную информацию.

Если Горбоклов без мыла лез в душу, то особа, величавшая себя Эмили, наоборот, обладала высокомерием, которого достало бы на десяток королей. По документам она именовалась Маланьей, но это плебейское имя шло вразрез с ее внешностью и мировоззрением. Отсюда и появился оперативный псевдоним, который она считала органичным и очень им гордилась.

Горбоклов еще по дороге на вокзал выболтал Вадиму о себе и товарке все, что разглашать не возбранялось. Эмили была ровесницей Вадима, родилась в мещанской семье, окончила гимназию и по собственному почину выучила английский язык – да так великолепно, что в войну ее взяли переводчицей, дабы поддерживать бесперебойный контакт с союзниками по Антанте. В годы разрухи она работала в правлении фирмы АРА, осуществлявшей американские поставки, но посчитала, что канцелярщина унижает ее достоинство. Однажды на нее положил глаз проверявший фирму фининспектор. Влюбился как мальчишка, а она, почуяв, что роман принесет выгоду, умело подыграла ему, в результате чего ее карьера пошла в гору. Сперва она переместилась в Наркомат внешней торговли, где у фининспектора трудился двоюродный брат, а полгода спустя, благодаря протекции уже другого любовника, пришедшего на смену предыдущему, попала в штат ОГПУ. Высоких постов она здесь не занимала, но ей нравилось быть при оружии и демонстрировать власть над людьми посредством удостоверения за подписью не кого-нибудь, а Феликса Дзержинского, грозы контрреволюционеров и прочего сброда.

Не исключено, что увлекшийся Горбоклов рассказал бы о напарнице много чего еще, но она прервала его, прошипев сквозь зубы:

– Шит! Хватит языком чесать, бестолочь...

Эмили была англоманкой до мозга костей: носила пальто дафлкот, предпочитала прическу «долли-систер» с косым пробором и пересыпала свою речь словцами, характерными для сынов и дочерей Туманного Альбиона.

Между собой Горбоклов и Эмили ладили как кошка с собакой: она говорила с ним исключительно пренебрежительным тоном, как барыня с холопом, нарочно коверкала его фамилию, называя то Кривоносом, то Тугоухом, а он при каждом удобном случае клеймил ее за буржуйские пристрастия и наедине с Вадимом отзывался о ней как о расфуфыренной дуре. Но при этом он был отъявленным эротоманом и не упускал случая заглянуть подруге в декольте, за что получал звонкую оплеуху. Однако Вадим уловил в их взаимных нападках некую фальшь и заподозрил, что эти двое ломают комедию, чтобы ввести его в заблуждение.

Жидким зимним утром поезд прибыл в Ленинград. Вадим, формально назначенный руководителем группы, подозвал таксомотор и попросил водителя-украинца довезти всех троих до «Англетера». Можно было с одной из промежуточных станций позвонить в губотдел и попросить прислать служебное авто, но такая помпезность не вязалась с предостережением Менжинского. Вадим был согласен, что расследование хорошо бы провести со всей келейностью, какая возможна в данной ситуации. Для питерских гопэушников они – комиссия из Москвы, бездельники, которых прислали для контроля над разбирательством в смерти известного литератора, имевшей в России и за рубежом громкий резонанс. Обычно к таким проверяльщикам относятся с прохладцей, и чем меньше они путаются под ногами, тем лучше.

Остановиться на жительство в «Англетере» – или «Интернационале», как официально именовалась гостиница с 1919 года, – виделось логичным со всех позиций. Именно там имело место ЧП, подлежащее расследованию, – какой же смысл селиться в ведомственное общежитие и мотаться туда-сюда каждый день? На расходы группе выписали из бюджетных средств пятьсот рублей. Деньги хранились у Эмили в сумочке из телячьей кожи, Вадиму их на руки не дали. А Петрушке Горбоклову вручили предписание, с которым можно было пойти в Ленинградский горком и затребовать дополнительное обеспечение, если бы в таковом появилась нужда.

Поэтому Вадим не экономил. Когда еще удастся шикануть!

На подъезде к гостинице он распорядился заплатить таксисту пятерку. Эмили пошипела, но подчинилась. Шофер вознаградил щедрость седоков целым возом пересудов, касавшихся самоубийства Есенина. Нет, он не признал в пассажирах чекистов, и ему не было дела до того, какие заботы привели их в Ленинград. Просто они ехали в «Англетер», а в те дни не было других тем, связанных с этой гостиницей.

– Несчастье буде, – балагурил он, проглатывая согласные в окончаниях слов. – Есенин – он не первый.

– А кто еще? – наострил уши Вадим, решив, что и здесь уже связали воедино цепочку громких смертей.

– Бешеные по городу шляют! По осени шурина моего на Крестовском зарезали. Просто так, ничего не взяли. А еще раньше, лето... мужик с Аничкова в Фонтанку сигану... прям у меня перед бампером! И потону.

Вадим откинулся на спинку сиденья и перестал внимать скороговорке таксиста. К истинным мотивам дела, которое привело летучий отряд Менжинского в Ленинград, это пустозвонство не имело никакого отношения.

Около полудня автомобиль подкатил к четырехэтажному зданию, выходящему фасадом на площадь Воровского, которую Вадим помнил еще как Исаакиевскую. Швейцар, больше смахивающий на ямщика с бородой венником, распахнул перед прибывшими массивную дверь.

Бывалый чекист Назаров был назначен администратором «Англетера» после того, как в здании расположилась британская миссия. За дипломатами требовался бдительный пригляд. Год назад миссия съехала, но Назарова не сняли, потому как отель, по советским меркам феше-

небелый, пользовался популярностью у приезжающих в город иностранцев, многие из которых интересовали ОГПУ.

Осведомленный о целях визита московской группы, Назаров выразил Вадиму и К⁰ готовность оказывать любое содействие и разместил гостей в соответствии с их запросами. Эмили отвели отдельный люкс, где четырьмя годами ранее проживала Айседора Дункан, а Вадима и Горбоклова поместили в двухместный седьмой номер. Обстановка здесь была не такой изысканной, как в будуаре Эмили, зато номер находился в непосредственной близости от места, где Есенин провел свою последнюю ночь.

Вадим не стал тянуть резину и в первый же вечер встретился с участковым надзирателем, который наутро после обнаружения тела Есенина составлял акт о суициде.

Участковый оказался малоречивым, но в его распоряжении имелись подробные протоколы, которые Вадим взялся изучать.

«Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе мужчина в следующем виде... – продирался он через безграмотные каракули. – На правой руке выше локтя с ладонной стороны порез, одет в серые брюки, ночную рубашку, черные носки и черные туфли...»

Вадим оторвался от чтения, попросил описать найденных при мертвеце вещей и пробежал по пунктам сверху донизу. Ничего необычного: чемодан, пиджак, кипа рукописей, ополовиненная пачка папирос «Сафо»... Но в мозгу что-то забрезжило.

– Скажите, а деньги? В Москве, перед отъездом, он снял со своего счета крупную сумму. Ее изъяли?

Участковый промямлил, что в пиджаке усопшего завалился бумажник с пятьюдесятью рублями. Других наличных средств при нем не оказалось, и куда они подевались – решительно неизвестно.

– А не было при нем серебряного портсигара с монограммой?

Милиционер сказал, что портсигара не помнит. Все личные вещи, найденные в номере покойного, переданы в Ленинградский отдел ОГПУ, до которого от гостиницы считанные минуты ходьбы. Если товарищ московский уполномоченный желает, пусть обратится туда, ему все покажут.

Вадим спросил, кто обнаружил повешенного. Участковый пояснил, что утром 28 декабря постояльцы гостиницы позвали Есенина на завтрак, долго стучали в запертый номер, но никто не отозвался. Тогда они пригласили управляющего Назарова, он отпер дверь запасным ключом и обнаружил труп в петле. После этого вызвали милицию.

Убедившись, что ничего полезного из надзирателя больше не выжать, Вадим обратился к Назарову. Тот подтвердил слова участкового и проводил назойливого москвича в номер пять, где проживал Есенин вплоть до своей гибели. Вадим поблагодарил управляющего и вежливо выпроводил вон, чтобы осмотреть номер в одиночестве.

Труп и веревку, на которой он был подвешен к трубе, убрали еще позавчера. Не было, как предупредил участковый, и вещей погибшего. Остальное не тронули. Пока в деле присутствовали неясности, уборщиц в номер не пускали. Под стеной лежала опрокинутая тумба, послужившая подставкой для самоубийцы, рядом валялся сбитый толчком канделябр. Вадим сел на маленький плюшевый диван возле круглого столика. Он заметил в углу пять или шесть порожних бутылок из-под грузинского вина, бездумно пощелкал выключателем торшера и попробовал вообразить, как все было двое суток назад.

Что толкнуло желтоволосого в силки? Неужто опять представился ему в алкогольном чаду Черный Человек? Но откуда он явился в номер, запертый изнутри на замок и отделенный от внешнего мира прочными окнами на задвижках?

Что-то мешало Вадиму прийти к логичным и прямолинейным выводам, к каким уже пришли или вскорости придут ленинградские следователи. Быть может, виной тому личная встреча с Есениным, состоявшаяся десятью днями ранее? Не будь ее, не было бы и сомнений.

Поверил бы в версию о том, что несчастный наложил на себя руки на почве беспробудного пьянства и житейской неустроенности.

Но нет! Наитие подсказывало, что все гораздо сложнее. Было еще нечто – жуткое, неодолимое, затянувшее желтоволосого в трясину. И искать это следовало не здесь, не в затхлом номере «Англетера» с валяющимся канделябром и опрокинутой тумбой. А где?

Вадим сидел, погруженный в думы, как вдруг его обостренного слуха коснулся знакомый клейкий мотивчик. Тот самый, что звучал тогда, в палате клиники Ганнушкина, когда Есенин открывал свой портсигар. Он доносился за пределами номера – тонюсенький, тенькающий – и становился все тише.

Миг-другой Вадим пребывал в ступоре, затем он вскочил с диванчика, распахнул дверь и увидел спину удалявшегося человека.

– Стой!

Вадим по инерции схватился за пояс, где в бытность его сотрудником с незапятнанной репутацией висела кобура с пистолетом «ТК». Вспомнил, что статус нынче иной и оружие ему, в отличие от Эмили и Горбоклова, не выдали. Да и пес с ним, с оружием! Можно и так... В конце концов, не в лесу. Кругом люди, услышат.

– Стой! – выкрикнул повторно и рванул вслед за уходящим.

А у того, по всей видимости, были причины не останавливаться. Игнорируя приказ, он припустил быстрее и в конце коридора нырнул куда-то влево. Вадим добежал до того места и ткнулся в плакатик «Подсобные помещения», висевший на стене между двумя одинаковыми дверьми. Сунулся наугад в левую. Дверь отворилась легко, за ней взору предстала тесная каморка, уставленная жестяными ведрами, швабрами и метлами. На их фоне притулившийся в углу немецкий электрический полотер марки «Victor» со съемной щеткой смотрелся несколько дисгармонично, однако Вадиму некогда было оценивать интерьер. Удостоверившись, что в каморке никого нет, он попятился назад, но чья-то ступня въехала ему в крестец. Вадима швырнуло вперед, он угодил коленом в ведро, упал и приложился лбом к цементному полу. На голову, как сбитые кегли, посыпались швабры. Сквозь невообразимый грохот он расслышал, как взвизгнула задвигаемая снаружи щеколда.

«Экий реприманд!» – выразился бы незабвенный шеф Александр Васильевич.

В каморке было темно – хоть глаз выколи. Но для Вадима наличие или отсутствие света не играло никакой роли: он прекрасно ориентировался в любых оптических условиях. Сейчас, правда, эта способность не могла ему помочь абсолютно ничем. Его заперли, как презренного грызуна в мышеловке.

Он непечатно выругался, встал, потер ушибленную коленку и толкнулся в дверь. Закрыта намертво. И надо же было так глупо влипнуть! Тип, которого он преследовал, юркнул в соседнюю подсобку, а потом вышел из нее и оставил своего противника в дураках.

Вадим саданул в дверь плечом – она не поддалась. Разбежаться бы, но загроможденное пространство не позволяло. Он поискал в подсобке топор или что-нибудь наподобие, однако, кроме моюще-чистящих приспособлений, ничего не нашел, а они для взлома явно не годились. Не придумав другого выхода, Вадим загремел кулаками в дверь.

– Откройте! Есть кто-нибудь?

В создавшейся ситуации он будет выглядеть стопроцентным болваном, но это лучше, чем сидеть взаперти.

– На помощь!

Шаги. Крадущиеся, почти невесомые. Вадим прекратил стучать. Звук этих шагов ему не понравился. Нельзя исключать возможности, что злодей передумал убежать и вернулся, чтобы прикончить балбеса, которого он так сноровисто упрятал в западню.

Вадим взял первую попавшуюся швабру, но она показалась ему чересчур легковесной. Отшвырнул, вооружился полотером. Эта штукавина поувесистее, можно огреть так, что черепушка разлетится, как яичная скорлупа.

Вжикнула шеколда. Вадим отступил на шаг, поднял над головой длинную рукоять с тяжелым набалдашником.

Дверь открылась – в проеме стояла Эмили. Вадим пришел в замешательство, устыдился своей воинственной позы и поскорее уронил полотер за спину. Тот звонко брякнулся о ведра, и они раскатились по подсобке.

Эмили поглядела на запыленную одежду Вадима, задержала взгляд на мокрых и грязных штанах, скакнула глазами выше – туда, где на лбу запечатлелась внушительная ссадина.

– Ты крейзи? – Она вымолвила это с оттенком удивления, но без особых эмоций. – Как ты сюда попал?

Он не стал юлить – любая выдумка выставила бы его в еще более невыгодном свете. Рассказал про липучую мелодийку, про человека в коридоре, про фатальное невезение. Думал, что Эмили обрушит на него весь свой англичанский сарказм, но на ее губах-ниточках не отразилось даже подобия усмешки.

– Мьюзик? – переспросила она и неожиданно чистым голоском напела, ювелирно попадая в ноты: – «Ай фаунд май лав ин Авалон, бисайд зе бэй. Ай лэфт май лав ин Авалон...» Не это?

– Оно! – поразился Вадим. – Как ты угадала?

– Я тоже слышала. Здесь, в гостинице. Где-то внизу, в холле.

– Значит, ты и того субчика видела?

– Нет. Я же не знала, что это так важно.

– А что за песенка? Откуда?

– Кажется, из бродвейского мюзикла. Мне один знакомый пластинку давал послушать... – Эмили сама себя оборвала и круто сменила тему. – Ты долго языком чесать собираешься? Тебе бы отсюда выйти поскорее.

Вадим пробкой вылетел из подсобки и закрыл за собой дверь. Эмили продолжала критически рассматривать его костюм.

– Бэд... В таком виде на люди нельзя.

– А что?

– Вон зеркало, глянь. Твои шузы нуждаются в клининге, все остальное тоже. Про фейс я уже молчу...

Одежду и обувь Вадим отдал прачке, пострадавшее надбровье затонировал мучной пудрой. Инцидент можно было считать исчерпанным, но разве такое забудешь? Сто против одного, что исчезновение есенинского портсигара, бродвейская шансонетка и этот гусь в коридоре – звенья неразрывной цепи. Схватишься за нее – и вытянешь отгадку. Ту самую, ради которой прибыли в Ленинград гонцы Менжинского.

Закавыка лишь в том, что цепь ускользнула, словно шустрая змея в нору. Ни одного звена нет на виду – за что хвататься? И все же надежда не покидала Вадима. Ловкач, заперший его в подсобке, имеет доступ в ведомственную гостиницу ОГПУ. Швейцар Евдокимов, стоявший у входа, как солдат на часах, божился, что без пропуска в здание и комар не пролетит. А если б пролетел, то на нижнем этаже дежурили двое в штатском, изображали из себя технический персонал, но фактически охраняли отель от вторжений. На ночь «Англетер» и вовсе запирался. Вадим доподлинно установил: в тот момент, когда приключился камуфлет с ловушкой, парадная дверь была закрыта на два замка и в придачу к ним на пудовый засов. Окна всюду целы, по зимней поре задраены и проложены паклей, открываются только форточки, но в них не пролезть и самому дистрофичному беспризорнику.

Из всего этого явствовало, что нехорошую хохму с московским гостем учинил кто-то из тех, кто ночевал в гостинице. Вадим прошерстил списки: двадцать восемь съемщиков, среди которых большей частью представители иностранных держав, плюс девятнадцать человек obsługi. Это не считая Назарова и столичной троицы. Вычленив из пяти десятков подозреваемых нужного гаврика – шарада непростая. Но посильная. Думая о пяти десятках, Вадим не сбрасывал со счета и своих провожатых. С того же Петрушки станется устроить какой-нибудь вахлацкий финт. Просто так, для смеха. А может, и еще для чего... Да и Эмили не вызывает доверия. Почему первой на выручку прибежала именно она? Ее номер от подсобки не очень близко.

Наметив основное направление поисков, Вадим не отказался и от побочных линий. Переговорил с ленинградскими знакомцами Есенина – Эрлихом и Устиновым, которые видели поэта в последние часы жизни. Нового они не сообщили. Рассказали, что, приехав из Москвы 24 декабря, Есенин вел себя шумно и порывисто, все его четыре предсмертных дня сопровождалось перепадами настроения: он то делился планами относительно коренного поворота в жизни, обещал бросить пить и собирался уехать в Европу, то впадал в беспросветный сплин, грустил и пророчествовал о скорой гибели. Но такие перепады случались с ним и раньше, причем, по словам Устинова, они обострились летом, после возвращения Есенина из Закавказья.

Вадим направился в Обуховскую больницу, в морге которой вскрывали тело повешенного. Обошелся бы без сопровождения, но куда там... Увязался докучный Горбоклюв, всю дорогу выедал мозги, рассказывая несмешные побасенки, которых его память хранила, к сожалению, несметное множество.

– Идет, значица, война. Приходят в город супостаты, всех подряд убивают, насилюют... Заходят, значица, в один дом, а там юница... вся такая краля, натуральный изюм в шоколаде. Она им, значица, бух в ноги и блажит: делайте со мной что хотите, но старушку-мать не трогайте. И тут, значица, из спаленки выкатывается карга дряхлее дряхлого, да как завопит: это как, то есть, не трогайте? Война так война! Хо-хо-хо!

Горбоклюв трещал без умолку и ржал, как мерин, над своими пошлыми байками, совсем не замечая, что Вадим морщится хуже, чем от зубной боли.

Обуховская больница находилась на набережной Фонтанки и считалась одним из лучших лечебных учреждений Северной Пальмиры. Вошедший в историю доктор Пирогов распиливал в ней замороженные внутренности бесхозных бродяг, составляя анатомический атлас, а три года назад там без малого месяц выставляли на всеобщее обозрение убитого налетчика Ленку Пантелеева, дабы убедить горожан в его безоговорочной кончине.

Шли по проспекту Майорова. Грязнуло потепление, с крыш срывались свинцовые капли талой воды, под ногами чавкало кисельное месиво. Вадим провел в Питере детство и юность, любил этот город, но зимы здесь переносились тяжело. Ветры, дувшие с Финского залива, наполняли воздух сыростью, от нее першило в горле, сбивалось дыхание, а лицо дубело, как в сибирскую стужу.

– Надо было на колесах. Непогодь! – посетовал Горбоклюв, завязывая под подбородком тесемки мужицкого треуха.

Но Вадиму после сидения в кутузке хотелось простора, и он пользовался любой возможностью, чтобы пройти пешком. Народу попадалось немного. Четверг, будний день, все по конторам да по фабрикам.

Когда перешли по мосту через Мойку, ему показалось, что позади, среди редких фигур, окутанных волглым туманом, бредет какой-то человечек, которого сложно отнести как к празднующимся, так и к спешащим по трудовой надобности. Он двигался, пригнув голову и низко надвинув шапку-кубанку. Едва Вадим полуобернулся, человечек сбавил шаг и пропустил вперед дородную бабу, которая скрыла его из виду.

Возле Дома городских учреждений с его лепным декором, грифонами и готическими башенками Вадим подзадержался, прикинулся, будто поправляет сползшую с пятки галошу, и снова увидел кубанку, мелькнувшую за извозчицкой коляской, что сворачивала на улицу Третьего июля, сиречь Садовую.

Кто этот топтун, откуда нарисовался? Послан здешними особистами для прикрытия московских эмиссаров? Но к чему организовывать слежку, если достаточно приставить охрану? Разве что ленинградцы ведут какую-то свою игру, о которой неведомо даже всезнающему Менжинскому. Нельзя исключать, однако, что проявилась третья сила, скрытая от официальных органов, но имеющая отношение к Вадиму и – как знать! – к злосчастию в «Англетере».

Горбоклов шпика не узрел и нес привычную околесицу. Вадим не стал его просвещать – пусть себе калякает, пустомеля. И как такого дурня приняли в политуправление?

Последний раз Вадим засек кубанку на подходе к Сенной площади. Она еще некоторое время выдергивалась из-за плеч прохожих, а потом затерялась среди бедняцких трущоб, возле которых копошились увальни в телогреях. Ленинградские власти постановили облагородить этот район, пользовавшийся при царизме дурной славой, и теперь активно сносили прилепившиеся к площади кабаки и притоны.

На берегу Фонтанки Вадим поправил вторую галошу, но филера уже не увидел. Тот либо прекратил наблюдение, либо понял, что его заприметили, и стал шпионить более искусно. Его наличие следовало держать в уме, но мозговать по этому поводу сейчас недосуг.

Наконец они дошагали до пункта назначения и окунулись в больничную атмосферу.

Судебного медэксперта Гловского они застали на рабочем посту – в мертвецкой. Он согласился побеседовать без отрыва от производства. Вспарывал полуразложившегося забулдыгу, вонь от которого не перебивал даже запах карболки. Перемежая фразы глубокомысленными «м-м-м», Гловский посвятил прибывших в детали вскрытия Есенина.

– Это было третьего дня, я все отлично помню... м-м-м... Общий фон покровов бледный, зрачки равномерно расширены, цвет нижних конечностей темно-фиолетовый...

– Александр Георгиевич, – вмешался Вадим, – акт, подписанный вами, я читал. Меня больше интересуют выводы. Он был сильно пьян, когда вешался?

Сухонький седоусый эксперт поиграл в воздухе ланцетом, которым взрезал, наверное, уже не одну сотню бездушных телесных оболочек, подтянул заляпанный бурым рукав халата и неуверенно промычал:

– М-м-м... в желудке найдены остатки пищи, от них слегка пахло вином. Предполагаю, что он употреблял спиртное часа за три-четыре до смерти, но не в таком количестве, чтобы ум зашел за разум. Хотя... м-м-м... я ведь не знаю его психологических характеристик. Это не моя область, обратитесь к другим специалистам.

Гловский оттянул рассеченную кожу на животе забулдыги, добрался ланцетом до осклизлого комка – печени – и стал кромсать его отточенным лезвием. Он работал артистично, его ухоженная дворянская рука с татуированным пернатым змеем, выглядывавшим из-под рукава, изгибалась, как баядерка в танцевальной пантомиме.

От вида распотрошенного мертвяка и витавших в покойницкой ароматов Горбоклова затошнило. Вадим еле успел подхватить его под руки и вывести наружу, где горемыка опорожился над больничным водостоком.

Вадим не прочь был взглянуть на брENNую плоть поэта, с которым рок свел его так странно, но тело сразу после вскрытия увезли в Москву и сегодня, 31 декабря, предавали земле на Ваганьковском кладбище. Надо думать, народу соберется прорва. Все-таки кумир, властитель дум, без пяти минут классик...

Вернувшись в отель, Вадим не пошел сразу в номер, а пофланировал немного в нижнем вестибюле, прошел по этажам. Со стороны смотрелось так: слоняется лодырь, не знает, чем себя занять, изнывает от ничегонеделания. Знавшие о принадлежности гостя к ОГПУ дежур-

ные поглядывали с затаенной завистью: везет же приезжему – груши околачивает, а мы тут без продыху...

Но Вадим не лентяйничал – он выискивал среди попадавшихся в гостинице людей того, по чьей милости был уловлен вчера, как муха в паучьи тенета. Своего недоброжелателя он мог признать только со спины, но скоро понял, что это гиблая затея. Сходных по телосложению попадалось немало, поди вычисли, кто из них тот самый. Одежда? На вчерашнем, помнится, болталась шинелишка, навевавшая ассоциации с гоголевским Акакием Акакиевичем, но таких и в Питере, и в отдельно взятом «Англетере» пруд пруди, через одного в них ходят, мода, устоявшаяся еще в эпоху военного коммунизма. Других примет нет, и тягучей мелодии из капиталистического мюзикла больше не слышно. Если враг не ослонил, то запрятал портсигар подальше и сам затаился. Нет, таким манером его не захомотаешь.

Удрученный, Вадим поплелся к себе. Войдя в номер, застал не только Горбоклюва. Управляющий Назаров приволок откуда-то кучерявую елочку, поставил ее в кадку с песком в центре комнаты и с помощью горничных украшал стеклянными шарами и цветастыми бумажными лентами.

В начале и середине двадцатых Новый год еще не был заклеямен как буржуазная утеха, в его праздновании власти не видели ничего предосудительного, сам Ильич при жизни ездил к детишкам на елку в Сокольники. Вот и Назаров подсуетился, чтобы задобрить московскую делегацию, которая, как ему казалось, проявляла недовольство. Из буфета были доставлены деликатесы: балык, запеченный судак, соленые грузди, а также две бутылки водки-рыковки. К казенным яствам он присовокупил сваренный супругой домашний студень.

Вадим воспринял праздничные приготовления с безразличием киника Диогена, для которого мир сузился до размеров бочки, и все происходящее за ее пределами его нисколько не занимало. Мысли вертелись вокруг одного и того же: что случилось в пятом номере «Англетера» в ночь с 27-го на 28-е? И каким образом это связано с августовским убийством в Чабанке и с октябрьской хирургической неудачей в Солдатенковской больнице Москвы? Назаров, Гловский, участковый надзиратель, товарищи из Ленинградского ОГПУ – все они были уверены, что комиссия из столицы интересуется только Есениным. Но Вадим держал в уме наказ Вячеслава Рудольфовича и пытался перебросить между тремя смертями логические мостки. А они, черт бы их побрал, не перебрасывались.

Часам к одиннадцати вечера пришла Эмили. Где она пропала весь день, Вадим не знал. Как всегда чопорная, расфранченная, в затейливых кружавчиках, делавших ее похожей на провинциальную компаньонку зажиточной леди, она под села к накрытому столику, брезгливо покосилась на студень с бляшками жира и облепленные репчатый луком грузди, вынула из сумочки пачку английских галет и стала их грызть. Вадим поймал на себе ее взгляд, не сомневаясь, что прочтает в нем издевку, но ее глаза с кобальтовым отливом оставались серьезными и приобрели некую томность, каковой в них раньше не замечалось. Вадим сделал вывод, что Эмили перед приходом на пиршество начиталась Байрона.

Горбоклюв, сам себя назначивший тамадой, непрерывно травил махровую похабщину:

– Приходит, значица, еврей в лекпункт. Там табличка: «Гигиеническое обрезание». А чуть пониже приписано: «Партнер – пельмени „Загадка“». Хо-хо-хо!

– Заткнись, Косорыл, – лениво процедила Эмили. – Обеспечь нам сайленс.

С полчаса сидели в гробовой тишине. Праздник не ладился, Назаров чувствовал себя неловко. Без пяти двенадцать он встал со стаканом в руке, произнес панегирик прозорливому вождю советского народа Сталину и всему Совнаркому, выпил и откланялся, сославшись на то, что семейный долг зовет домой. Его никто не удерживал.

Почти сразу после отбытия Назарова засобирались и Эмили. Вадим уговаривал ее задержаться, хотел обсудить рабочие вопросы, в особенности главное: целесообразно ли далее прожигать госфинансы в Ленинграде или пора двигать назад, в Москву?

Эмили, надменно оттопырив губу, вытянула алебастровый пальчик в сторону наклюкавшегося Петрушки.

– Не с кем обсуждать. Видишь, он не в кондиции... Морнинг ивнинга мудренее.

И удалилась в свои покои.

Одна бутылка рыковки стояла опустошенная. Горбоклов потянулся за второй, нераспечатанной, но Вадим убрал ее со стола.

– Обойдешься. Завтра, может быть, в Москву поедем. Ты нам с бодуна все купе заблужешь.

Горбоклов повел замутненными зенками, оскалился.

– Гы... Пошел, значаца, император Николаша со своей Шуркой в Летний сад мослы поразмять...

Вадим уже знал, что монарший променад в изложении Петрушки не закончится ничем иным, кроме свального разврата, поэтому не стал дослушивать и вышел из пропахшего столовой номера в прохладный коридор. Он отдышался, расправил затекшие от застольного бдения плечи. Вразвалочку пошел вперед – ноги сами понесли к пятому номеру, все еще опечатанному и незаселенному.

Гостиница сегодня не спала, из-за многих дверей доносились хмельные выкрики и звяканье посуды. Тоже Новогодние отмечают. Смерть поэта, будоражившая всех и вся, отходит на второй план, жизнь продолжается. Ругать ли людей за то, что не думают о вечном? Скорбь преходяща, а если потеря, которой она вызвана, напрямую тебя не касается, то и скоротечна.

Философствуя, Вадим неспешной походкой продолжал путь по коридору и вдруг уловил звуки, разительно отличавшиеся от тех, что сопровождали его до сих пор. Сквозь произносимые заплетающимися языками тосты и стаканый перезвон прорезалось совсем другое – сиплое сопение, шорох, похрустывание досок пола под передвигаемой мебелью...

Вадим встал посреди коридора как вкопанный. Тренированный слух молниеносно отсеял все ненужное, определил вектор. По загревку пробежал холодок, потек ниже. Сопение и шорох исходили не откуда-нибудь, а из злополучного пятого номера, в котором, по идее, никого не должно быть!

Преодолев оцепенение, Вадим сделал еще пяток шагов, затаил дыхание. Так и есть! За дверью комнаты что-то происходило. Вот грякнул стул, зашелестел ковер, раздался сдавленный выкрик... при этом ни шагов, ни голосов...

Клок бумаги с сургучной печатью, который Назаров повторно налепил вчера после осмотра номера, валялся на полу. Вадим потрогал замок. Признаков взлома нет, дверь отперли ключом.

Кто внутри и что он там делает? Вряд ли ворюга. Номер обшарен милицией и чекистами сверху донизу, брать там нечего, это должен понимать даже непроходимый тупица.

Вадим медлил. В воображении соткался мертвый желтоволосый, чья неприкаянная тень зачем-то оставила надмирье и пожаловала туда, где она покинула земную юдоль. Подмывало сбегать к себе, вооружиться. Горбоклов наверняка уже отключился, храпит, уткнувшись носом в скатерть. Револьвер у него в походном вещмешке. Вытащить – и бегом назад. Тогда не так жутко будет входить в комнату, где хозяйничает неизвестно кто.

С другой стороны, «наган» хорош против обыкновенного смертного. Нелюдя с его помощью едва ли одолеешь. Если только серебряной пулей зарядить, но где ее возьмешь? Да и бегать туда-обратно – значит терять драгоценное время. Тот, кто в номере, может в любой момент улетучиться... в прямом или в переносном смысле.

Все эти рассуждения проскочили в голове Вадима с быстротой искры, бегущей по проводам. Собравшись с духом, он рванул на себя дверь и переступил порожек.

В комнате все было не так, как прежде. Тумба сдвинута, на нее водружен канделябр, в нем зажженная свечка. Худосочное пламя рассеивало вокруг чахлый молочный свет. Но Вадим

и без него разглядел бы высунутый из-под стола и обтянутый ватными шароварами зад, над которым топорщилась знакомая шинель.

Он! Тот, что шел накануне по коридору и скрылся в подсобке... Хоть столешница и свисавшая с нее бахрама скрывали всю верхнюю половину тулова, ошибки быть не могло.

Вадим, не раздумывая, цапнул бронзовый канделябр, смахнул с него свечу. Теперь у него были все преимущества: оружие в руке и дезориентирующий противника мрак. А еще как будто камень с души упал. Кто бы ни был этот возюкающийся на полу, происхождение у него земное. Выходит, можно и без серебряных пуль.

– Вылезай! Ты кто?

Сопение сменилось рычанием. Стол шатнулся, а затем взлетел, вскинутый мощным толчком. Вадим отскочил вбок, ударился лодыжкой о тумбу.

Перед ним возникла ошетилившаяся колючей бородой рожа. Взлохмаченные патлы, налитые багрянцем глазищи, ноздри, раздувшиеся, как у бешеного быка...

– Евдокимов?!

Да, это был швейцар, каждый день истуканом стоявший при входе в «Англетер». Но что с ним случилось! Всегда приторно-услужливый, вышколенный, сейчас он шел на Вадима враскачку, растопырив лапищи, точно шальной медведь, разбуженный посреди зимы. Вместо слов он исторгал животный рык, его рот скособочился, в буркалах – нездоровый блеск.

Вадима взяла оторопь, он вжался в стену и выставил канделябр, как саблю.

– Что с тобой? Очумел?..

Швейцар вострубил луженой глоткой и, изловчившись, боднул Вадима макушкой в грудь. Тот услышал, как затрещали ломающиеся ребра, и грудную клетку наискосок прорезала жгучая боль. Он успел звездануть бородатого канделябром по зашейку, но это не произвело ровно никакого действия. Евдокимов разогнулся, плеснул из глазниц алой жижей, и две его огромные клешни сомкнулись под скулами Вадима. И такой геркулесовой силой налились эти клешни, что ни рыпнуться, ни вздохнуть, ни даже в харю перекошенную плюнуть.

– У-у-у! – хлестнул по ушам звериный вой.

Вадим ощущал себя куренком, которого поймали во дворе и вот-вот свернут шею, чтобы бросить безжизненную тушку в котел, где уже бурлит, закипая, вода для будущего супа.

Все потускнело, расползлось, а потом и вовсе пропало, как изображение на киноэкране, когда плавится застрявшая в проекционном аппарате пленка.

Глава III, в которой отгадка представляется столь очевидной, что в нее стыдно поверить

Не свезло Фильке в первый день наступившего года, ой, не свезло!

И ведь что обидно – тридцать первое декабря прошедшего, 1925-го, выдалось таким фартовым, что ни в сказке сказать, ни пером на пузе процарапать. С самого утра потянулся поток клиентов, да все с хабаром. Марвихеры, щипачи, трясуны, писари, ширмачи, рыболовы и прочие представители благородного семейства карманных воров знали, кому выгодно и безопасно сбыть добытое непосильным преступным трудом. Водился Филька и со шниферами, но куда менее охотно. Вскрыть квартиру – это вам не портфель у очкарика-растяпы заточенной монеткой подрезать, там все грубее, следов остается много, мильтонам есть где развернуться. Не любил Филька грубости, как и риска – боялся, что какой-нибудь домушник приведет на хвосте легавых. А карманники словно цирковые фокусники. Ловкость рук, наработанное годами мастерство, которое сродни искусству. Смотришь и диву даешься. Спектакль!

Вот, к примеру, ширмачи, они же марафетчики. Был у Фильки один такой знакомый по кличке Пижон. Это прозвище, или, как блатные гуторят, погремушку, дали ему неспроста. Ходил Пижон всегда при параде. Брючки штучные, пошиты на заказ, в черно-серую полоску, с завязками, чтоб всегда идеально выглаженными гляделись. Ботиночки глянцевого, на рипах. Пиджачок люстриновый, с лоском, а на голове – шляпа фетровая с ленточкой. И в руке непременно букет, такой пышный, что все барышни на проспекте оборачивались. Казалось бы, зачем вору эдакий кандибобер? Ему б как раз незаметным стать, мышкой-норушкой проскакать. Ан нет! У Пиждона свой расчет имелся, проверенный. Букет – это и есть ширма, она же марафет. Подходишь, допустим, к даме, что одета побогаче, спрашиваешь, который час, и присовокупляешь с придыханием, что на Финляндском вокзале тебя невеста дожидается, которая из дальнего далека поездом приехала. Дамочки – они сочувствовать горазды: и время подскажут, и разобъяснят, как поскорее к месту встречи добраться, еще и поохают, и счастья пожелают. А ты... ну то есть не ты, а Пижон... он малый хваткий. Покамест мадам соловьем заливаётся, притиснется к ней с букетом и там, внизу, под розами, руку в ейный ридикюль запустит. Она, сердечная, от аромата цветочного сомлеет, ей и невдомек, что такой фат, к тому ж влюбленный, способен пакость вытворить. Даже когда хватится кошелька или коробочки с серьгами, ни за что на него не подумает. Психология – это вам не хухры-мухры.

Воры – они все немного пиждоны, даже если не люстриновые пиджаки на них, а батрацкие обноски из сермяги. Скажем, писари – те известные выпендрейники: один карманы и сумки бритвой режет, другой пятаком, третий – обручальным колечком с заточенными краями. И у всякого свой фирменный стиль: кто прямой линией полосует, кто углом, а кто «письмом», то есть крест-накрест...

Предновогодние дни для воровского люда – раздолье. Народец уже заражен праздничной сумасшедшинкой: ищет подарки, сорит деньгами, зажиточные кавалеры стараются обеспечить своих пассий драгоценностями. Неудивительно, что и доходы «втыковой масти», как прозвали карманников и сумочников фараоны, возрастают в разы. Но наворованное надо куда-то девать. Сбыть, прилично заработать и при этом не засыпаться.

Филька слыл самым железным скупщиком краденого. Держал мелочную лавочку близ Апраксина двора, ничем не выделялся, числился в рядах легальных советских коммерсантов эры НЭПа. Но наличествовала в его лавке потайная дверка, в которую просачивались добытки, приносившие то, что обеспечивало скромняге-нэпману барыш куда больший, чем торговля керосинками и скобяными изделиями.

Что попало Филька не брал. Племяш его жил в буржуазной Эстонии, имел законспирированные ходы через границу. Через них Филька и переправлял товар. А буржуи – они капризные, дешевыми брошками от Мосювелиртоварищества их не прельстишь. Потому и требовал Филька от своих поставщиков что-нибудь исключительное. Такое, что не зазорно за бугром показать.

В тот предновогодний день понанесли пропасть всего: и аквамаариновые подвески от Фаберже, и золотой кулончик, на котором стояло клеймо мастера Августа Холмстрема, и симпатичное ожерелье с фиолетовым аметистом, сработанное фирмой братьев Грачевых... Вечеру из базарной толкучки вывинтился дядька с бородой, сказал, что направлен по протекции *подкидчика* Гвоздя, которого Филька знал сызмальства и очень уважал. Притаранил дядька серебряный портсигар с вензелем, затейный такой: крышку поднимаешь, а изнутри напевчик сладенький плывет. Филька сразу угадал: штука непростая, с историей. Спросил откуда. Дядька бороду пожевал, молвил, что презент от родственника, который с белыми в Константинополь сбежал, а вещишки ненужные раздал кому ни попадя. Вранье, вестимо. Кумекал Филька, кумекал: не по нраву ему пришлось и дядька этот, и его брехня. Но портсигар покорила. За такую фитюльку можно недурной куш сорвать.

Словом, взял. И сам на себя порчу навел. С утречка по свежевывавшему снежочку заявились свистуны. Они и раньше частенько с проверками наведывались, но Филька откупался. А тут с перепою новогоднего злющие были, лаялись, как цепные кобели, все в лавке разворотили и – вот проруха! – нашарили кой-чего из вчерашней поживы. Тут уж никакие отступные не помогли: взяли за шкуру, сволокли в Управление уголовного розыска на Адмиралтейском. Там какой-то чин с перебинтованной рукой приступил к Фильке с допросом: кто принес цацки, кому предназначались, куда и по каким каналам уходили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.